

МИТРА ПАПИЛИН

РАВНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

роман · Эдинбург · 16+

Митра Папилин

Равные части речи

«Автор»

2026

Папилин М.

Равные части речи / М. Папилин — «Автор», 2026

Эви Хартли восемнадцать, она приезжает из Шеффилда в Эдинбург изучать лингвистику и в первую же неделю хватает за рукав незнакомого парня на краю обрыва, потому что решила, что он собирается упасть. Он не собирался. Каллум Росс, второкурсник-геолог, глухой с рождения, пишет ей на салфетке: «Следующий раз помаши рукой». Она идёт учить британский жестовый язык, он делает вид, что ему не нужна ничья помощь. Между ними лекции, кафе, где разговаривают только руками, шотландские танцы, Хогманай и ореховые шкатулки для камней, которые отец Каллума делает своими руками. Роман рассказывает по очереди от лица Эви и Каллума, как двое учатся слышать друг друга, когда слов не хватает на обоих.

© Папилин М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. «Да и»	5
Глава 1. Эви	6
Глава 2. Каллум	10
Глава 3. Эви	15
Глава 4. Каллум	20
Глава 5. Эви	24
Глава 6. Каллум	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Равные части речи

Часть первая. «Да и»

Эдинбург, сентябрь – декабрь

Глава 1. Эви

Список я составила ещё в поезде, между Дарлингтоном и Ньюкаслем, на обороте билета, потому что тетрадь лежала на дне чемодана под двумя пледами и тремя пачками чая, которые мама сунула мне на случай, если в Шотландии вдруг не окажется чая (в Шотландии, как выяснилось, чай был, и даже в таком количестве, что хватило бы на всю мою улицу). Пунктов набралось тридцать один, от «купить дверной стопор» до «не звонить домой чаще раза в день», и последний я перечитывала дольше остальных, потому что понимала, что нарушу его ещё до вечера.

Дома у меня всегда были списки. На холодильнике в нашей шеффилдской кухне висел лист, расчерченный на дни недели, где красным значились мамины ночные смены в больнице, синим — школьные дела Неда, зелёным — то, что надлежало сделать мне, и когда мама говорила, что без этого листа мы бы развалились, я кивала и чувствовала себя необходимой, а о том, что необходимость, возможно, не совсем то же самое, что любовь, я тогда не думала. Нед, которому было двенадцать, на прощанье вручил мне целлофановый пакет с тремя камнями из своей коллекции (кварц, кусок чего-то чёрного и блестящего и ещё один, который он назвал «на всякий случай»), а мама стояла на перроне в форменной куртке, потому что с вокзала ей надо было прямо на работу, и держалась так бодро, что мне хотелось развернуться и уехать обратно.

— Ты должна позвонить, как только доберёшься, — сказала она.

— Я позвоню.

— Но не обязательно сразу.

— То есть позвонить или не звонить?

— Позвони, — сказала мама и обняла меня так крепко, что у меня хрустнули лопатки, а потом отстранилась, посмотрела на меня и сказала тем профессиональным тоном, каким говорила с пациентами: — Эви, там тебя ждёт жизнь. Не надо вести её по расписанию.

Я ответила, что не буду, и это была первая ложь моего студенческого года.

От Шеффилда до Эдинбурга поезд шёл четыре с половиной часа, и я просидела их, прижавшись лбом к стеклу, особенно после Бервика, где море подступило к рельсам так близко, что у меня закружилась голова от одной мысли, как много в нём воды. Я ехала изучать лингвистику. Если бы меня спросили, зачем, я бы ответила, что мне нравится, как устроены предложения, и это было бы правдой, хотя и не всей: мне нравилось ещё, что в языке всё можно разложить по полкам, и, разложив, увидеть, где и почему оно не сходится, и я почти верила, что с людьми получится так же.

Общежитие, куда меня поселили, называлось Pollock Halls[1] и стояло у подножия холма, который в Эдинбурге считают чем-то вроде городского божества. Холм назывался Артурово Кресло[2], он был виден из окна моей комнаты, и в первый вечер я простояла перед ним минут двадцать, не раздеваясь и не распаковывая чемоданов, потому что комната, узкая, с раковиной в углу и кроватью под клетчатым покрывалом, показалась мне одновременно чужой и слишком моей. В коридоре на девять дверей жили будущая медичка Прия Наир, приехавшая из Лестера с тремя настольными лампами, потому что, по её словам, «в учебной жизни свет решает всё»; Амира Хаддад из Манчестера, которая собиралась стать программисткой и за первый час успела разобрать и собрать свой ноутбук; и Фергюс Манро, будущий юрист, высокий и громкий, говоривший о себе в третьем лице, когда ему хотелось пошутить. Они были хорошие, и мне предстояло прожить с ними девять месяцев, поэтому уже в первый вечер я составила в голове график уборки общей кухни, с которым пока не решилась выступить.

Первая неделя, которую в университете называют неделей приветствия, оказалась одним длинным праздником, на который я явилась без приглашения. Мы ходили на встречи для пер-

вокурсников, где нам выдавали значки, и на ярмарку студенческих обществ, где нам выдавали листовки, и в столовую, которую здесь все называли сокращением из четырёх букв и где два раза в день кормили так, что даже Нед одобрил бы, и на вечеринки, где музыка била в грудную клетку так, что приходилось кричать собеседнику в ухо слова, которые тот всё равно не слышал. В среду я ушла с вечеринки через сорок минут, сославшись на головную боль, которой не было. В пятницу я осталась на два часа, танцевала с Прией и Амирой, смеялась в нужных местах и в конце так устала от необходимости выглядеть человеком, которому весело, что дошла до комнаты на ощупь.

К субботе, тринадцатому сентября, у меня накопилось ощущение, что все вокруг уже кого-то нашли — друзей, любовь, лекционную скамью, где можно сидеть каждый раз, — а я осталась стоять с подносом посреди столовой, выбирая, к кому подсесть. Про себя я называла это «задержкой запуска». Прия, которая вечером собиралась в кино с ребятами из своей группы, спросила, не пойду ли я с ними, и я, с благодарностью и ужасом, ответила, что мне нужно написать маме.

— Тогда напиши и сходи куда-нибудь, — посоветовала Прия. — В кино, на гору, ну хоть куда, а то ты ходишь по коридору с лицом человека, который опоздал на собственные похороны.

Я пообещала подумать, и по дороге в комнату действительно подумала, и вместо кино выбрала гору.

Подниматься на Артурово Кресло можно с разных сторон, и в тот вечер я пошла вдоль подножия холма по парку Холируд[3], где трава была такая плотная и зелёная, что казалась нарисованной, а потом свернула на тропу, которая шла вверх, вдоль скал, называвшихся Солсберийскими[4]. Это была отвесная каменная стена, поднимавшаяся над городом метров на сорок, а над ней по краю шла широкая тропа, где в тот вечер былолюдно: бегуны, собаки, пары с рюкзаками, туристы с телефонами. Солнце уже клонилось к западу, город внизу желтел, и я шла медленно, наслаждаясь тем, что на целый час можно ни о чём не думать, и почти была счастлива, пока не увидела парня.

Он стоял на коленях у самого края.

Я не сразу поняла, что именно меня насторожило. Он был немного в стороне от тропы, там, где трава кончалась и начинался голый камень, и он наклонился над обрывом так, как наклоняются над перилами, когда хотят рассмотреть что-то внизу, только перил там не было. На нём была тёмная куртка и серая вязаная шапка, в одной руке он держал телефон, а другой опирался о землю, и когда он сдвинулся вперёд ещё на несколько сантиметров, чтобы заглянуть вниз, моё тело решило всё само.

— Эй! — крикнула я. — Эй, вы! Осторожнее!

Он не повернулся. Я крикнула громче, и две женщины с палками для ходьбы оглянулись на меня с тем вежливым недоумением, с каким шотландцы смотрят на англичанок, повышающих голос, а парень по-прежнему не шевелился и только подался чуть дальше. У меня в голове случилась одна из тех вспышек, когда видишь сразу весь ряд последствий, от «скорая» до «мама, почему ты не заставила её остаться дома», и, не думая, я побежала.

— Стойте! — кричала я на ходу. — Не двигайтесь! Пожалуйста, назад!

Добежав, я схватила его за рукав куртки и дёрнула на себя, и в этот момент он обернулся.

У него было узкое лицо с тёмными бровями, глаза серые, внимательные и в первую секунду испуганные, а во вторую — такие раздражённые, что я отпустила рукав сама. Он выпрямился, убрал телефон в карман и сделал мне какой-то жест, быстрый и резкий, одной рукой от виска вперёд, который я не поняла, но поняла по лицу, что он означает нечто вроде «вы с ума сошли».

— Вы стояли у обрыва, — выпалила я. — Вы чуть не упали, я кричала, а вы не слышали, и я подумала...

Тут он поднял руку, ладонью ко мне, будто останавливая движение, потом достал телефон, коротко что-то набрал и повернул экран в мою сторону.

«Я глухой», — прочитала я. И дальше, сразу, второй строкой: «И я вижу обрыв».

У меня вспыхнули уши, а за ними щёки и, кажется, всё остальное тело. Я стояла на краю Солсберийских скал в десяти шагах от пропасти, которую парень, судя по всему, видел гораздо лучше, чем я, и смотрела на экран, и слова, которые я произносила, были совсем не те, какие надо было произносить.

— Простите, — сказала я, — я не знала, я думала... то есть, я кричала, потому что... извините, ради бога, я правда...

Он смотрел на мои губы, и по тому, как он это делал, я догадалась, что он читает по ним, что получается у него приблизительно, и тогда я замолчала, потому что от моей скороговорки было ничуть не легче. Мы стояли и смотрели друг на друга: он терпеливо ждал, пока я закончу ошибаться, а я думала, что лучше бы упала в этот обрыв.

— Каллум! — окликнули нас с тропы.

К нам, размахивая обеими руками над головой, шёл невысокий смуглый парень в клетчатой рубашке, и только когда он подошёл ближе, я заметила, что машет он не мне. Он дошёл до моего собеседника, встал так, чтобы тот его видел, и заговорил с ним руками, быстро, с лицом, которое тоже было частью разговора: брови вверх, губы вытянуты, голова наклонена к плечу. Тот отвечал, и я, не понимая ни одного движения, вдруг подумала, что это красиво, и сразу устыдилась, потому что наблюдать за чужим языком, как за птицами, было, наверное, неприлично.

— Я Дев, — сказал мне человек в клетчатой рубашке на английском, с отчётливым глазговским выговором, и тут же, не прекращая жестикулировать (теперь я поняла, что он делает это одновременно, одной рукой и словами, для меня), пояснил: — А это Каллум. Он говорит, что с вашей стороны это было очень героически и совершенно не нужно. Ну, почти так. Я смягчаю.

— Я... — начала я.

— Он говорит, что вы, наверное, не поняли, что он не слышит. Ну, понятно, что вы не поняли, как вы могли понять. Он занимается геологией, он учится на геолога, ему надо было посмотреть вон ту штуку, — Дев показал на скалу, где в расщелине виднелись тёмные вертикальные столбики, похожие на спичечные, — и он просто изучал её.

Каллум что-то показал рукой, коротко, и Дев хмыкнул.

— Он говорит, что вы извинились уже четыре раза, и ему хватило первого.

— Я бы хотела... — я сглотнула. — Скажите ему, что я правда рада, что он не упал. То есть он и не собирался. Скажите, что мне очень стыдно.

— Скажите сами, — сказал Дев и вдруг очень по-доброму улыбнулся. — Он всё равно смотрит на вас, а не на меня.

Это была правда: Каллум стоял, засунув руки в карманы, и смотрел прямо мне в лицо, спокойно, без недоброжелательства, так, будто давно привык ждать, пока слышащие найдут способ с ним поговорить. Я набрала воздуха, посмотрела на него и, чётко, не крича и не растягивая слоги (потому что я слышала, как мама говорила с пациентами, у которых плохо со слухом, и от неё запомнила, что кричать не надо), сказала:

— Мне очень жаль, что я вас напугала.

Он помолчал и кивнул. Потом снова достал телефон и набрал пальцем несколько слов, коротко, словно каждое было ему жалко: «Спасибо за заботу. В следующий раз просто помаши рукой».

Он развернул ко мне экран, дождался, пока я прочту, и в уголке его рта появилось что-то вроде улыбки, такой мимолётной, что я не успела убедиться. Затем он коротко кивнул Деву, и

они пошли дальше по тропе, на ходу продолжая разговор, который был для меня закрыт, как книга на неизвестном языке.

Я смотрела им вслед. Я записалась на лингвистику, потому что любила язык, и не знала, что на языке можно говорить вот так, и мне вдруг захотелось встать на колени у скалы и спросить кого-нибудь, как это называется и можно ли мне туда.

Потом я пошла наверх. Шла я быстро, не глядя по сторонам, потому что лицо у меня всё ещё горело, и в какой-то момент поймала себя на том, что повторяю про себя: «Помашки рукой, помашки рукой», как будто это был заговор. Крутая часть тропы кончилась, началась каменистая, где пришлось идти, цепляясь руками, и на вершине, в ветре, который выдувал из головы лишнее, я вдруг оказалась лицом к лицу с Эдинбургом, расстилавшимся внизу во все стороны: замок на скале, серые башни, море вдалеке, облака, подсвеченные снизу. Рядом кто-то снимал на телефон, кто-то пил чай из термоса, пара целовалась, прислонившись к каменному столбу, а я стояла и думала, что почти час назад была человеком, который не знал ничего о глухих, и что это, возможно, не самое страшное, что со мной могло случиться.

Я написала Неду: «Забралась на вершину. Видно всё. Камни твои в целости». Он ответил через минуту: «А ты точно вернёшься?», и я не сразу поняла, что спрашивает он не про камни.

Вечером, вернувшись в общежитие, я позвонила маме, и позвонила в тот же день, как и обещала, и сказала, что всё хорошо, и даже почти не соврала. Мама спросила, чем я занималась, я ответила, что ходила на гору, и она обрадовалась, потому что решила, что это значит «нашла друзей», а я не стала её разубеждать. Потом я легла на узкую кровать, открыла на телефоне поисковую строку и долго смотрела на мигающий курсор, прежде чем написать: «британский жестовый язык, как выучить».

Первым результатом шла страница общества BSL[5] при университете, и она начиналась со слов, что приходить могут все, кто хочет, независимо от уровня, и что по четвергам у них собирается кафе, где разговаривают только руками. Я прочитала это раз пять. Потом открыла список на обороте билета, дописала тридцать вторым пунктом «Пойти в кафе, где разговаривают руками» и впервые за неделю уснула сразу.

Глава 2. Каллум

Будильник у меня лежит под подушкой и трясётся, а свет в нашей квартире мигает, когда кто-нибудь звонит в дверь, потому что Дев, поселившись со мной, первым делом, ещё до того как распаковать вещи, сам прикрутил к потолку лампу, соединённую с кнопкой у подъезда. Я говорю об этом заранее, потому что слышащие, когда узнают, что я глухой, почти всегда спрашивают одно и то же: как это — жить в полной тишине? Я не умею на это отвечать, потому что тишина существует только для тех, у кого есть её противоположность, а у меня в голове её нет, там живут лица, руки и пространство, в котором всё это происходит, и когда я просыпаюсь в семь утра от толчка под подушкой, я не думаю: «тихо», я думаю: «ещё пять минут».

Мерчмонт[6], где мы с Девом снимаем квартиру на третьем этаже, построен из серого камня и населён студентами в той пропорции, при которой на каждого жителя старше двадцати пяти приходится ровно по пять подвальных вечеринок. Из нашего окна видна улица, по которой в любую погоду бегут люди в наушниках, и мне нравится на них смотреть, как нравится смотреть на людей в вагоне, когда читаешь книгу: у каждого свой слой жизни, в который не обязательно залезать. Но с этого начался мой второй год, и поэтому о нём придётся рассказать быстро, без украшений: мне двадцать, я учусь на геолога, родился в Стирлинге у глухих родителей, и мой первый язык — британский жестовый, на котором я думаю, ссорюсь, вру и считаю в уме. Английский я выучил позже, по книгам и по губам, а голосом пользуюсь редко, потому что слышу, как он у меня звучит, только по реакции людей, и реакция эта обычно не та, которую хотелось бы увидеть.

Первое занятие нового года, в понедельник, пятнадцатого сентября, началось с хаоса, традиционного для любой университетской недели, в которой кто-то ошибся с расписанием. Мойра и Гарет, мои переводчики с английского на BSL[7], приехали за двадцать минут до начала и сидели в вестибюле Гранд-института[8] с кофе в бумажных стаканчиках, потому что аудитория, которую нам выдали, оказалась занята семинаром по картографии, а новую пока не нашли. Мойра, которой было сильно за пятьдесят и которая переводила мне с первого курса, сказала руками, что университет, как всегда, обнаружил, что у него есть студенты, за пять минут до их прихода; я ответил, что на этот раз он обнаружил, что у него есть геологи, а это куда опаснее.

Я хочу объяснить, как всё устроено на лекции, потому что от этого зависит многое в моей жизни. Переводчик стоит или сидит рядом с лектором, так, чтобы я мог смотреть одновременно на него и на экран, и работает по двадцать минут, после чего его сменяет напарник, потому что переводить синхронно дольше слишком тяжело. Лектор говорит, переводчик переводит, я смотрю на переводчика, в промежутках бросаю взгляд на слайд, затем на конспект, и если лектор вдруг отворачивается к доске и продолжает объяснять ей в спину, у меня в запасе остаётся ровно столько информации, сколько успел перевести человек, а не столько, сколько произнёс преподаватель. Из этого следует, что у меня на конспект уходит больше сил, чем у соседа, а усталость к вечеру такая, будто весь день смотрел на солнце. Я никогда не жалуюсь, я просто считаю.

Агнес Фрейзер, наша седиментолог и преподаватель того предмета, ради которого я вообще выбрал геологию, не отворачивается к доске. Ей шестьдесят, она носит грязные ботинки на любое мероприятие, включая экзамены, и в первый год я не мог понять, почему она на лекциях смотрит не на переводчика, а на меня, пока она сама не объяснила, что в школе её учили говорить с тем, к кому обращаешься, и что с этим она ничего поделать не может. «Перевод — это мост, — сказала она тогда. — Но разговаривают всё равно люди на разных его концах». Я это запомнил, и на следующей неделе принёс ей список жестов для слов, которых не было в глоссарии научных терминов[9]: «осадочный бассейн», «унаследованный

рельеф», «несогласное залегание». Мы с Мойрой придумывали их в мае, смеясь над тем, как слово «несогласие» одним и тем же движением обозначает у нас и угловой стык двух пластов, и обычную человеческую ссору.

— Это красиво, — сказала Агнес, прочитав мой список. — Можно я тоже выучу?

И выучила. С тех пор на лекциях она иногда, забывшись, сама показывала то или иное слово, нелепо, с нажимом, как делают все слышащие, и я каждый раз терпеливо делал вид, что не вижу ошибок.

Всё это я рассказываю не затем, чтобы вы жалели меня или восхищались, а чтобы вы поняли, какой у меня был настрой в четверг, когда Дев в четвёртый раз за неделю предложил пойти на жестовое кафе.

— Там будет Шона, — сказал он, не отрываясь от кофе и показывая одной рукой. — И половина тех, кто в прошлом году учил BSL и в этом тоже собирается. И те, кого ты не знаешь, но кто хочет поучиться. Не пойдёшь — они подумают, что ты от них прячешься.

— Я прячусь, — ответил я.

— Именно, — сказал Дев и хлопнул меня по плечу, а это в нашем языке значит «пошли».

Жестовое кафе устраивало студенческое общество BSL по четвергам в кафе при студенческом центре, и я бывал там нерегулярно, примерно раз в месяц. Мне нравилось, что в этом помещении язык, который в остальном мире нужно защищать и объяснять, был единственным разрешённым: там не говорили вслух, не смотрели в телефоны, а если кто-то, забывшись, начинал произносить слова ртом, ему аккуратно напоминали, что здесь все руками. Но к концу вечера мне обычно надоедало быть тем, к кому слышащие приходят как к экспонату: «Покажи, как будет такое-то слово», «А как у вас называется вот это?» Я не против их интереса, просто хочется иногда быть человеком, а не словарём.

В тот вечер зал был полон, за составленными вместе столами сидело человек сорок, и первое, что я увидел, войдя, — Шону, которая махала мне обеими руками и тут же начала показывать новости. Шоне двадцать один, она на третьем курсе информатики и родом из Инвернесса, глухая с рождения, как я, и у неё лучшая в Эдинбурге мимика: она рассказывает истории так, что даже слышащий понимает смысл, не зная ни одного знака. Она сообщила мне, что в этом году в общество записалось вдвое больше людей, чем в прошлом, и что это либо знак нового интереса к нашей культуре, либо следствие модного сериала.

— Сериала, — сказал я.

— Ты циничен, — показала она и подняла бровь. — Но я с тобой согласна.

Заметил я её не сразу. Она вошла минут через двадцать после начала, остановилась в дверях и растерянно оглядела зал, будто попала не на ту станцию, и я увидел вязаный свитер, тёмно-русые волосы, собранные в хвост, из которого выбивались пряди, и крышку от ручки, зажатую в зубах: девушка, по-видимому, грызла её от волнения. Прошло несколько секунд, прежде чем я узнал в ней ту, что в субботу схватила меня на скале за рукав.

Следует признать, что к тому моменту я думал о ней несколько раз. Не часто, не всерьёз, но в тот день, например, когда стоял на лекции и вспоминал, как она бежала по тропе, размахивая руками, с лицом, перекошенным настоящим ужасом, и мне стало неудобно оттого, что кто-то так за меня испугался, и вместе с тем что-то тёплое шевельнулось под рёбрами, и я, чтобы не разбираться, переключился на слайд про турбидиты[10]. Чужое беспокойство тяжело читать: слишком часто оно оказывается не заботой, а потребностью заботиться, и разница в том, что первое видит тебя, а второе — себя в роли спасателя.

Она увидела меня раньше, чем я успел отвернуться. Она покраснела мгновенно, до корней волос, и я почти физически почувствовал, как она вспоминает все свои «простите» и пытается решить, как далеко зайти. Затем она взяла себя в руки, подошла к нашему столу, остановилась в трёх шагах, так чтобы я её видел, и вместо того чтобы заговорить, подняла правую руку и неловко помахала.

Шона рядом со мной резко втянула воздух.

— *Это она?* — показала она. — *Девочка со скалы?*

— *Дев рассказал?* — спросил я.

— *Дев рассказал всем.* — Шона посмотрела на неё с интересом, который я хорошо знал: она прикидывала, сколько у тебя терпения, прежде чем сказать, что думает. — *Помаши рукой. Хорошая девочка. Посмотрим, что дальше.*

Девушка тем временем сделала ещё один шаг. Она посмотрела на меня, потом на свою руку, потом снова на меня и, очевидно проделав в голове сложный путь, начала показывать пальцами. Это была дактильная азбука, вернее, её попытка: две руки, сложенные в нечто напоминавшее буквы, и она старательно, по одной, выкладывала передо мной слово. Я видел Э, потом что-то непонятное, потом И. Она писала собственное имя, и делала это с таким мучительным усилием, что мне стало не по себе от желания помочь, и я его подавил.

— *Э-В-И-Е,* — подсказала Шона, наблюдая. — *Её зовут Эви.*

Эви остановилась, увидела, что мы читаем, и выдохнула, как будто сдала экзамен.

Я встал, потому что стоять рядом было проще, чем сидеть, достал телефон и, пока она ждала, набрал: «Привет, Эви. Это Каллум», и показал ей, а она прочитала и закивала, как ребёнок, которому разрешили нажать на кнопку лифта.

Тут к нам подошёл Дев, на ходу вытирая руки о джинсы, и мне хватило взгляда на него, чтобы сказать ему движением головы: *не надо.*

— *Не переводи,* — сказал я ему руками. — *Пусть сама.*

— *Пусть сама,* — повторил он и демонстративно отошёл к стойке, а Шона наблюдала за ней с таким видом, что мне стало ясно: она готова вмешаться, если что-то пойдёт не так.

Эви смотрела на нас и, по-моему, поняла, что сейчас идёт какое-то обсуждение, к которому её не допускают. Поэтому она набрала воздуха, достала из сумки блокнот и ручку (ту самую, с обгрызенной крышкой) и написала крупно, печатными буквами: «Я пришла извиниться по-человечески. Можно?»

Я взял у неё ручку, ту самую, с обгрызенной крышкой, и там же, на соседней странице, написал: «Ты уже извинилась. Четыре раза».

Она прочитала, и губы её дрогнули. «Пять, — написала она, — если считать запись».

— Хорошо, — сказал я вслух. Голос у меня негромкий и странный, будто я говорю из-под воды, и я видел, как на секунду смягчилось её лицо, хотя я не знаю, какое слово она в нём расслышала. Потом я сел обратно и показал на стул напротив. Она села так осторожно, будто он мог провалиться.

Шона перебралась к другому столу, оставив нас вдвоём, и я успел заметить, как Эви посмотрела ей вслед и поняла, что Шона ушла нарочно, оставляя им место.

Дальше вышло долго, потому что писать на бумаге медленнее, чем разговаривать. Она начала с того, что я должен знать, как ей стыдно, и я написал, что знаю. Она написала, что в субботу у неё был тяжёлый день, и я ответил, что у меня тоже. Она спросила, правда ли я геолог, и я кивнул. Она спросила, что я там искал, на краю скалы, и я нарисовал на странице блокнота тонкие вертикальные линии, потом горизонтальные, между ними стрелку и подписал: «Здесь горячая порода вошла в холодную. Давно. Очень». Она долго смотрела на рисунок, и мне казалось, что она хочет что-то сказать, и я уже начал подозревать, что это будет вопрос про слух.

Вопрос был другой.

«Ты сердился? — написала она. — Тогда, на тропе?»

Я задумался. Честный ответ был трудным: сердился не на неё, а на ситуацию, в которой слышащий человек в сотый раз бросается меня спасать от опасности, которой нет, и в очередной раз смотрит на меня так, как будто я хрупкий предмет. Но написать это значило вывалить

на неё слишком много, поэтому я выбрал половину правды: «Немного. Не на тебя. Но ты тоже была права: я стоял слишком близко».

Она прочитала и подняла на меня глаза, и в них было такое облегчение, что я пожалел о своей осторожности. Потом она написала: «Хочу выучить BSL. Можно спрашивать тебя?»

Вот это был момент, когда я понял, что Шона отошла не зря.

Я долго смотрел на её вопрос. В прошлом году у меня была подруга, Элли, которая тоже сначала хотела выучить BSL и спрашивала меня, и я отвечал, с удовольствием, отдавал ей часы, слова, шутки, а она в какой-то момент выучила достаточно, чтобы блистать на вечеринках, и перестала приходить. Я не злюсь на Элли. Я просто выучил: когда слышащие просят научить их языку, они имеют в виду «научи меня тому, что я смогу забрать», и очень редко — «научи, и я останусь».

Я взял ручку и написал медленно, чтобы она успела понять каждое слово:

«Я не учитель. Есть курсы, найди хороший, лучше с глухим преподавателем. Ходи в кафе по четвергам. Спрашивай других, не только меня. Если захочешь спросить меня — спрашивай, но я могу сказать нет».

Она читала и кивала на каждой строчке. Дочитала до конца и написала: «Это справедливо».

«И еще, — добавил я. — Извиняйся один раз. Не больше. Остальное — враньё».

Она засмеялась. Беззвучно, одним выдохом, как смеются, когда не хотят нарушать порядок, и мне пришлось признать себе, что смех у неё не раздражающий. Затем она написала крупно, в углу листа: «Извини».

— Один, — сказал я вслух.

— Один, — повторила она так отчётливо, что я прочитал по губам, и в следующую секунду мы оба поняли, что разговор у нас получился, пусть и на листке.

Остаток вечера я потратил на то, чтобы научить её двум вещам. Первое — как правильно привлекать моё внимание: я показал, что мягко махнуть рукой в поле зрения или коснуться плеча допустимо, а хватать за рукав в десяти шагах от обрыва не нужно. Второе — как читается моё имя. Я сделал ей пальцами К, потом А, показывая, как вторая рука служит подставкой: в британской азбуке гласные обозначаются прикосновением пальца к кончикам пальцев другой руки, так что А — это большой палец, Е — указательный, И — средний, а дальше уже по порядку. Она повторяла медленно, с высунутым языком, как будто ей мешали собственные кисти. На букве Л у неё сцепились пальцы, и я не выдержал: плечи у меня затряслись, она увидела, обиженно нахмурилась, потом сама рассмеялась, и вот так, смеясь и путаясь в фалангах, мы с ней просидели ещё минут двадцать.

В конце вечера я вытащил из рюкзака телефон, чтобы проверить сообщения, и увидел, что сестра прислала мне три подряд, и все про маму, и все с восклицательными знаками. Айла, которой шестнадцать и которая, в отличие от меня и родителей, слышит, пишет мне гораздо чаще, чем следовало бы, и почти всегда по одному и тому же поводу: что-то случилось дома, и ей снова пришлось быть мостом между отцом и очередной службой, которая не умеет разговаривать без телефона. Я набрал ей «Позвоню видео через час», и когда поднял глаза, Эви уже собиралась уходить. Она накинула куртку, замешкалась и вдруг показала что-то обеими руками, неловко, не глядя на меня, а куда-то на стол. Я не сразу понял. Потом сообразил: она пыталась сказать «спасибо».

Получилось очень плохо. Она перепутала положение рук, и жест вышел похожим на «вот тебе мороженое». Я чуть не рассмеялся второй раз за вечер, но вместо этого, медленно, так чтобы она увидела, показал правильно: плоская ладонь у подбородка и вперёд.

Она повторила. Теперь вышло почти.

— *Пожалуйста*, — показал я, и, прежде чем она успела понять, я снова сел и достал из рюкзака конспект про турбидиты, потому что иначе пришлось бы решать, что я чувствую, а это, как мне казалось, совершенно не входило в мои планы на вечер.

Я стоял на остановке, ожидая автобус, когда пришло её сообщение. Номер, наверное, дал ей Дев, потому что я сам ни о чём таком не договаривался. Она написала: «Спасибо. И за рисунок. Я повешу его над кроватью». И через секунду: «Это не вопрос». И ещё через секунду: «То есть не извинение».

Я засмеялся прямо на остановке, один, и женщина рядом с зонтом посмотрела на меня с беспокойством, как смотрят на тех, чей смех кажется странным. Я знал, что он странный, и мне было всё равно.

Глава 3. Эви

Курс BSL для начинающих проходил по вторникам вечером в здании, которое университет, судя по табличке, делил с каким-то отделением английской литературы, и вести его должен был человек по имени Мартин Кин. Я узнала это из письма, которое пришло в понедельник, и дважды перечитала последнюю строчку: «Занятия проходят без голоса. Пожалуйста, оставьте голос за дверью». Решила, что это метафора, но в аудитории выяснилось, что слова там нужно понимать буквально.

Нас было человек пятнадцать. Я пришла за двадцать минут до начала, как всегда, когда нервничаю, и села в первом ряду, потому что именно в первом ряду по моему опыту никто не успевает вас осудить. Вокруг рассаживались люди совершенно разные: пожилой мужчина в вязаной жилетке по имени Гордон, который, как выяснилось позже, тридцать лет проработал почтальоном и хотел поговорить с глухой соседкой; медсестра Хана с вечно уставшими глазами; двое студентов-второкурсников, искавших «что-нибудь необычное»; пара из Польши, мирно ссорившаяся шёпотом, и я. Мартин вошёл ровно в семь.

Он был невысокий, лет сорока, с короткой бородой и очень живыми руками, и первое, что он сделал, прежде чем что-либо сказать (то есть показать), это выключил верхний свет и снова включил. Потом подождал, пока мы поднимем головы, и без единого звука поднял ладонь, как делают, когда просят тишины, но мне вдруг стало ясно, что он просит внимания, а тишина тут ни при чём.

Затем он взял маркер и написал на доске по-английски:

Я — Мартин. Я Глухой. Вы пришли учить мой язык. Здесь вы не слышите. Здесь вы — ученики.

Слово «Глухой» было написано с большой буквы, и я невольно прочитала про себя это «Г» как заглавную: так пишут названия народов. Он дал нам прочитать, потом стёр и показал на себя, затем на нас и сделал несколько движений, которых я не поняла, но смысл как-то проступил сам: *сегодня вы — первоклассники.*

Следующие два часа я провела в состоянии, которое трудно описать. Мартин не говорил ни слова. Он показывал, терпеливо, повторяя, делая лицо частью языка, и если мы не понимали, он показывал снова, иначе, пока смысл не проявлялся. Мы выучили, как здороваться, как сказать «меня зовут» и как спросить «а тебя?», как показать «слышащий» и «Глухой» и как назвать цвета, а потом он выстроил нас в круг, и каждый по очереди выкладывал пальцами своё имя. Я справилась с «Э» и «В», запнулась на «И» (средний палец, средний, не безымянный), закончила «Е» и, к своему изумлению, увидела, как Мартин кивнул и показал мне большой палец.

Позже я записала в блокноте, как это ощущалось: будто вернулась в раннее детство, когда у тебя нет ни одного слова и приходится объясняться всем телом, и одновременно будто впервые вижу, что у тела вообще есть грамматика. Я лингвист, пусть пока без диплома, и я знала, что у любого языка есть порядок, но в тот вечер я поняла, как мало это знание значит, пока язык не разворачивается прямо перед тобой в пространстве, и разные части предложения лежат в разных местах воздуха, а не выстраиваются в строку.

К концу занятия руки у меня ныли так, как ноют икры после первой пробежки. Мартин попросил всех остаться, жестом пригласил сесть и достал листок. Мы писали ответы на его вопросы, потому что он, как я позже поняла, делал это каждый раз перед тем, как перейти к тому, что считал самым важным.

Вопрос первый, — написал он на доске. — Кто из вас знает человека, который Глухой?

Поднялась рука Гордона, рука Ханы, моя. Я подняла её с некоторым смущением, потому что «знаю» было слишком сильным словом для человека, который видел Каллума три раза.

Вопрос второй. Кто из вас умеет с ним разговаривать?

Руки опустились. Гордон посмотрел на свою, потом на соседей, и по его лицу прошла улыбка человека, пришедшего на этот курс именно за ответом.

Мартин отложил маркер, посмотрел на нас и, медленно, чтобы мы поняли, показал ещё одну вещь. Показал, написал и дождался, пока мы все разберёмся: в Глухом мире имя человека — не то, что ему дали родители. Имя — это жест, который придумывают другие. Каждый из нас, придя в Глухое сообщество, рано или поздно получит жест-имя, но не сегодня и не от него.

Почему? — спросила Хана рукой, потом спохватилась, написала это на листке и показала. Мартин покачал головой и написал: *Потому что я не давал себе права. Имя дают те, с кем вы живёте. Можно ждать год, можно три. Нельзя взять самому.*

Он стёр доску. А я, собирая вещи, впервые подумала, что одно из самых красивых правил, о которых я когда-либо слышала, состоит в том, что себя нельзя назвать.

Домой я возвращалась с руками, которые продолжали двигаться сами, и всю дорогу по холодным улицам Старого города повторяла про себя: «Меня зовут Эви. Я учу BSL. Спасибо. Пожалуйста». На крыльце общежития я остановилась и вдруг осознала, что стою и показываю фонарному столбу «до свидания».

Вторая моя неделя в Эдинбурге складывалась из таких маленьких перемен. Лекции у нас были в здании на Чарльз-стрит[11], где я как-то незаметно для самой себя начала садиться на одно и то же место и слушать доктора Бранд, которая вела у нас фонетику и умела объяснить, как рождается звук гласного, так, что я ловила себя на желании положить ладонь на горло. Мы разбирали, что такое предложение: почему английская фраза про бесцветные зелёные идеи, которые яростно спят, грамматична и бессмысленна, а те же слова в обратном порядке уже просто набор слов, и я записывала в тетрадь примеры, и в один из дней, сидя в аудитории, впервые за три недели ощутила то, что, наверное, называют «я на своём месте». Тогда я заметила, что рука машинально выводит на полях маленькие жесты-схемы, и подумала: интересно, а можно ли разобрать так предложения в BSL.

Дома дела шли не столь гладко.

Мы с соседями по коридору собирались вместе на кухне почти каждый вечер, и сначала это было прекрасно: Прия готовила чай с кардамоном, Фергюс зачитывал вслух газетные заголовки в духе британских тоталитарных режимов, Амира рассказывала про свою группу по информатике, где все, по её словам, были в трёх шагах от изобретения новой операционной системы. Но к концу сентября в кухне начался беспорядок. Чьи-то кружки скапливались в раковине, кто-то забывал вынести мусор, пол в углу липко блестел, и я, которая за последние двенадцать лет не пропустила ни одной субботней уборки, не выдержала.

Я составила график. Хороший, красивый, расчерченный на четыре цвета: по одному на каждого и один общий, для случаев, когда никто не знает, чья очередь. Я напечатала его, заламинировала (в библиотеке стоял ламинатор, и это само по себе было знаком судьбы) и повесила на холодильник, а сверху приколола магнитом записку с улыбающимся смайликом.

Реакция последовала в тот же вечер.

— Это что? — спросила Амира, остановившись перед холодильником с пакетом молока в руке.

— График, — ответила я, и внутри что-то ёкнуло, потому что вопрос был задан тоном, которым спрашивают о живом существе, найденном в раковине.

— Это я вижу. — Амира прищурилась. — А можно спросить, когда мы его обсуждали?

— Ну... — я попыталась улыбнуться. — Он же просто. Кто моет пол, кто выносит мусор. Чтобы всем было понятно.

— Понятно, что тебе, — сказала она. Не злобно, просто ровно. — Я не против графика, правда. Я против того, что ты его написала, не спросив меня. У меня по четвергам лабораторная до восьми. Ты поставила мне мыть пол в четверг.

— Я не знала.

— Вот именно, — сказала Амира. — Ты не знала, потому что не спросила.

Фергюс, который стоял рядом и только что запихивал в рот ломтик сыра, посмотрел на нас обеих и торжественно сообщил, что в вопросах уборки он нейтрален, как Швейцария. Прия появилась в дверях, определила обстановку по лицам и тихо сказала, что кому-то сейчас лучше всего заварить чай. Я стояла и смотрела на ламинированный лист, и внутри у меня медленно поднимался знакомый жар стыда, смешанный с обидой. Я хотела как лучше, сказала я себе. Я всего лишь хотела помочь.

Но Амира была права, и в этот вечер я это поняла хуже, чем следовало бы, потому что слишком хорошо запомнила слова, а не то, что за ними стояло. Я пошла в комнату и села на кровать, глядя на висящий над ней рисунок Каллума, на тонкие вертикальные линии и стрелку, и подумала, что у меня есть привычка делать для людей то, о чём они не просили, и называть это любовью. Эта мысль тогда промелькнула и ушла, не оставив следов, но на следующее утро я сняла график с холодильника, принесла на кухню блокнот и спросила, готовы ли они обсудить, как нам лучше распределить уборку, с учётом всех лабораторных.

— Это можно, — сказала Амира, и впервые за три недели улыбнулась по-настоящему.

В субботу одиннадцатого октября, когда осень в Эдинбурге уже перестала быть красивой и стала просто мокрой, Каллум предложил показать мне то, что называл «правильной скалой».

Мы переписывались почти ежедневно. Не о большом: он присылал фотографии камней, которые видел по дороге, с подписями вроде «базальт, но притворяется песчаником», я отвечала, что ничего не понимаю, но мне нравится, а потом присылала запись себя, показывающую какое-нибудь новое слово, и он отвечал одним словом, всегда одним, «верно» или «почти», а иногда прикреплял короткое видео, где показывал, как нужно, и мои пальцы, повторяя его, постепенно запоминали. Я не пыталась загонять это в рамки. Мне просто хотелось, чтобы телефон жужжал.

Встретились мы у входа в парк Холируд. Он пришёл с Девом, который на этот раз остался в стороне и развлекался, снимая на телефон белку. Каллум кивнул мне, и вместо приветствия, которого я ждала, сделал знакомый жест: «Помаши рукой». Я засмеялась и помахала.

Мы пошли вдоль подножия скал по тропе, где людей было меньше, и каждый раз, когда мне хотелось что-то спросить, я останавливалась, касалась его плеча (один раз, легко, как он учил) и, дождавшись, пока он повернётся, показывала то, что умела, или, не умея, писала в телефоне. Он отвечал рукой, потом переводил на экран, и мы шли дальше, и разговор получался прерывистый, как у двоих, идущих по разным берегам ручья, но оттого особенно внимательный.

Наконец он остановился перед металлической оградой, высокой, с колючим верхом, перегораживавшей тропинку. За оградой тропа уходила вдоль самой стены скал, и место было узким, каменистым и явно давно заброшенным.

«Здесь, — написал он на экране и дождался, пока я прочту. — Секция Хаттона»[12].

Я смотрела на ограду и на скалу за ней, но видела только серые камни и мох.

— Я не вижу, — показала я неловко. Потом написала: «Что я должна увидеть?»

Он засмеялся, как умеет, беззвучно, плечами, потом присел на корточки, достал блокнот (у него, как и у меня, блокнот всегда был в рюкзаке) и стал рисовать, а я наклонилась посмотреть.

Он нарисовал стену скалы и разделил её горизонтальной линией. Внизу изобразил слои, плотные, тонкие, как страницы книги. Сверху, над ними, густую тёмную массу. «Это горячая порода, — написал он. — Она была внутри Земли, жидкая. Давным-давно она поднялась и вошла между слоями. Как нож в пирог». Он нарисовал стрелки, и я увидела, что тёмная масса не лежит на слоях, а втискивается между ними, ломая их и поднимая.

«Шотландец по имени Хаттон[13] пришёл сюда два с половиной века назад, — продолжал он. — Он увидел это и понял, что Земля не создавалась за неделю, как все думали. Что у неё была другая история. Очень длинная. Что камни рождаются, ломаются, поднимаются и стираются, снова и снова, и это происходит до сих пор».

«Он считается отцом геологии?» — написала я.

«Да. Но мне нравится то, что он сказал в конце жизни. Подожди». Он достал телефон, нашёл цитату и показал мне, и я прочитала по-английски строку, которую потом ещё много раз возвращала себе: *мы не находим никаких следов начала и не видим перспективы конца*.

Я смотрела на неё и на скалу за оградой. Мне показалось, что ограда поставлена здесь не для того, чтобы мы не лезли внутрь, а чтобы мы, стоя снаружи, поняли, что внутри.

— *Почему закрыто?* — показала я, угадывая движения скорее по памяти, чем по уверенности.

Он ответил на экране: «Обвалы. Уже много лет. Говорят, откроют в следующем июне, к трёхсотлетию Хаттона. Я надеюсь».

«Придёшь?» — написала я, прежде чем сообразила, насколько это личный вопрос.

Он посмотрел на меня чуть дольше, чем нужно для ответа, и набрал: «Если откроют — да. А ты?»

«Если позовёшь».

Я отправила это, и только увидев, как он читает, поняла, что только что сказала вслух, то есть письменно, то, что собиралась хранить для себя. Он не ответил сразу. Он снова спрятал блокнот в рюкзак, оглянулся на Дева, который уже махал нам из дальнего угла, и потом сказал мне руками, чётко, как говорят слово, которое хотят, чтобы запомнили:

— *Есть ещё одно место. Не здесь. В июне. Там лучшее несогласие в мире. Покажу, если доживём*.

Я знала слово «покажу» и слово «июнь», которое выучила на прошлой неделе, и даже угадала «несогласие» по тому, как он повторил его, потому что оно показывалось двумя ладонями, идущими навстречу и расходящимися вбок, и я спросила, что это значит. Он пожал плечами и показал вторую ладонь поверх первой, под углом, как разворачивают перед собой листок бумаги на столе, и написал: «Два слоя, которые лежат не параллельно. Между ними дыра во времени. Миллионы лет».

Я прочитала, покивала, ничего не поняв, и подумала, что запомню на потом.

На обратном пути мы с Девом на пару заспорили, из чего сделан холм. Он утверждал, что из вулкана, я, перечитав вслух накануне статью, настаивала на «остатках вулканического жерла». Каллум шёл между нами и по очереди смотрел на каждого, пока мы не разошлись вничью, и в конце он вдруг остановился, развернулся ко мне, и мне стало ясно, что он хочет сказать что-то важное.

Он начал показывать, остановился, подбирая слово, и вместо этого написал на экране: «Ты хорошо учишься. Мартин писал мне, что у него в группе появилась ученица, которая задаёт много вопросов».

— Мартин тебе писал? — вслух удивилась я.

— *Он мой двоюродный дядя*, — сообщил Каллум жестом, изо всех сил пытаясь не рассмеяться. — *Все знают всех*.

Я запрокинула голову и расхохоталась так громко, что где-то на склоне хлопнули крылья, а он смотрел на меня, и в его лице было что-то такое, чего я не умела прочитать, но от чего у меня внутри стало тесно и тепло, как бывает, когдаходишь с мороза в комнату.

Вечером я написала Неду. Он прислал фотографию камня: прозрачного, с острыми гранями, похожего на кусочек замёрзшей воды, и подпись «Это в честь тебя». Я ответила: «Научу тебя алфавиту, когда приеду». Он написал: «Какому?» — «Для рук». Он прислал три восклицательных знака, а потом, после паузы: «А ты ему нравишься?»

Я глядела на этот вопрос, пока экран не потемнел. Потом написала: «Не знаю», удалила, написала: «Он очень хороший», удалила и наконец ответила честно: «Не знаю ещё. Но мне нравится смотреть, как он говорит».

Глава 4. Каллум

Камни терпеливы. Это главное, что я понял о них за время учёбы, и, пожалуй, единственное, что я готов сказать о геологии человеку, который спросил бы, почему я её выбрал. Камень не торопит, не требует, чтобы ты смотрел ему в рот, не переспрашивает: «Ты точно понял?» Он просто лежит на месте, в том положении, в каком его оставило время, и если ты потратишь достаточно часов, расспросив его с лупой и молотком, он расскажет всё, что с ним случилось. Ему всё равно, глухой ты или нет.

В субботу восемнадцатого октября мы ездили на побережье Файфа[14] на полевой день, и погода была такой, какую шотландцы называют «освежающей», а все остальные — дождём. Нас привезли на автобусе человек сорок, выдали каждому планшет, карту и молоток, и Агнес Фрейзер, стоя на скользких камнях в нелепой жёлтой куртке, объяснила, что сегодня нам предстоит найти и нанести на карту границу между двумя пачками осадочных пород, которая, по словам геологической службы, проходит где-то здесь, но на самом деле, по мнению Агнес, смещена на сорок метров. Я перевёл взгляд на Мойру, стоявшую слева от лектора. Мойра в такие дни надевала красный дождевик, чтобы я мог найти её издали, и в перчатках переводила так, что со стороны казалось, будто она танцует.

Первые часы на полевых выездах всегда одинаковые: все носятся вдоль берега, делают вид, что понимают, что ищут, и неизменно возвращаются к Агнес с вопросом, ту ли это скалу они видят. Я люблю эти часы. Спина мокрая, пальцы отваливаются от холода, но я вижу, как между слоями песчаника, на которые я смотрю, пробегает тонкая светлая полоса, и понимаю, что это когда-то было дном ручья. На минуту мне становится так хорошо, что я перестаю быть кем-либо, кроме человека, который смотрит на камень.

Дев работал со мной в паре. Он нарисовал на планшете схему, потом посмотрел на мою и поднял брови: *ты опять всё усложнил*. Я показал ему три пальца: *три слоя, не два*. Он показал мне язык и пошёл искать подтверждение. Одним из многих достоинств Дева было то, что он, выучив BSL в шесть лет ради старшего брата, не воспринимал язык как подвиг. Он просто разговаривал. Руками, лицом, плечами, иногда спиной, если ему было лень поворачиваться, и в этом смысле рядом с ним я мог не делать ни одного лишнего усилия, чтобы быть понятым.

Другие вели себя иначе. Я не хочу говорить о них плохо, это было бы нечестно: в большинстве своём они хорошие люди, которые научились держаться со мной вежливо, как держатся с незнакомцем в чужой стране. Но вежливость, если она слишком старательная, всегда немного утомляет. В тот день Хью, который учился со мной на одном курсе, подошёл ко мне в очередной раз и, поймав мой взгляд, начал говорить очень медленно, широко раскрывая рот, как в мультфильме:

— Ка-ал-лум. Хо-очешь... по-ом-ощь?

Я посмотрел на него и, не вынимая из кармана рук, показал Мойре, стоявшей рядом: *он думает, что я забыл английский*. Мойра, с идеально невозмутимым лицом, перевела это вслух в версии: «Каллум благодарит и говорит, что справляется».

— А, — сказал Хью. — Отлично. Здорово.

Он удалился, видимо довольный собой. Дев, наблюдавший эту сцену издали, показал мне большой палец, а потом, чуть пожав плечами: *в следующий раз скажи, что я твой брат, а он, мол, твой подчинённый*.

Это не жалоба, повторяю. Я привык. Но вечером, в автобусе, когда мы возвращались в город, а все вокруг спали, положив головы друг другу на плечи, мне пришло в голову, что за год я ни разу не слышал от слышащего однокурсника простого вопроса: «А как тебе удобнее?» Они спрашивали, чем помочь, хотели показать, что сочувствуют, пытались говорить со мной

медленнее, ласковее, громче, но почти никогда не спрашивали у меня самого, как мне сделать так, чтобы я мог работать как все.

Эви спросила в первый же день.

Я не знаю, когда это для меня стало иметь значение. Наверное, когда она написала на листке: «Если я чего-то не понимаю, как ты хочешь, чтобы я об этом говорила?» Почти никто не спрашивает «как ты хочешь», все сразу решают, как надо. Я ответил, что надо сказать, просто и прямо, без кивков. Кивать вежливо, когда не понимаешь, — самое неприятное, что умеют делать слышащие: ты думаешь, что тебя поняли, и идёшь дальше, а потом выясняется, что кивающий понял только четверть. Она кивнула. Потом, видимо, подумав, что кивок — это как раз то, о чём я только что просил её не делать, быстро покачала головой, залилась краской и написала: «Не кивну. Скажу: не поняла». Я уже тогда подумал, что с ней, пожалуй, можно.

Через несколько дней после полевого выезда мы пошли в кино. Это была её идея: она нашла сеанс с субтитрами, в маленьком зале на Лотиан-роуд, и сообщила мне об этом в сообщении, которое закончила вопросом: «Хочешь? Если нет, ничего страшного». Я сначала вздохнул, потому что обычно такие вечера оборачивались либо поспешно придуманной ссорой с кинотеатром, либо тем, что слышащие друзья весь фильм шептали мне в ухо пояснения, не давая смотреть. Но она предложила, и я согласился, и мы сидели в тёмном зале, и она не шептала, не толкала меня под локоть, не поворачивалась ко мне с вопросом «ну как, понятно?» Только в середине фильма я почувствовал, как она осторожно, не глядя, положила руку на подлокотник между нами, на расстоянии нескольких сантиметров от моей, и так и оставила.

Мы не касались. Я смотрел на экран, слова бежали внизу белым шрифтом, герои целовались под дождём, и я думал, что это, пожалуй, лучший фильм из всех, что мне доводилось видеть, и что он, судя по сюжету, никуда не годится.

Потом, когда мы вышли, она спросила, хочу ли я, чтобы она провожала меня, и я ответил, что хочу. Всё просто.

Но о Шоне я забыл бы вам рассказать, и это было бы нечестно, потому что именно Шона не позволила мне окончательно расслабиться.

Мы встретились в четверг после занятий в кофейне недалеко от студенческого центра. Шона любила место, где рядом с чашкой стоял сахарный песок, и считала, что в нём можно разглядеть будущее. Она выслушала мой рассказ про кино, про сообщения, про Мартина, которому я успел пожаловаться на то, что он напрасно хвалит Эви, а затем поставила чашку на блюдце и заговорила, плавно, но так, что движения рук говорили больше, чем лицо.

— *Каллум*, — показала она. — *Я за тебя рада. Правда. Но давай вспомним, что было с Элли.*

Я откинулся на спинку стула.

Элли Марш училась со мной на первом курсе и была слышащая, с рыжими косичками и привычкой смеяться слишком громко. Она пришла на BSL-кафе в первую неделю, случайно, потому что у неё было свободное время, и подошла ко мне, потому что Дев тогда лежал с простудой. Мы разговорились. Она хотела учиться, я охотно помогал. Это длилось месяцев шесть. Она ходила на мои конспекты, на кофе, потом на вечеринки, где я, к своему удивлению, чувствовал себя почти нормально, потому что она в любую секунду переводила мне, без просьбы, что говорят вокруг, и я в какой-то момент перестал замечать, что уже не участвую в разговоре и только слежу за её руками.

А потом, в начале второго курса, мы встретились на лестнице, и она сказала (я прочитал по губам, а Дев позже подтвердил), что не может больше, что очень устала, что ей никогда не говорили, как это тяжело — быть постоянным мостом. Она сказала это без злости и просто ушла, и с тех пор ни разу не появилась на нашем четверге.

— *Это была не её вина*, — показал я.

— *Это была отчасти её вина*, — ответила Шона. — *Но не только. Ты слышишь?*

Я покачал головой. Нет, не слышал.

— *Я тебя люблю*, — показала Шона, и это означало не то, что любят друг друга в романах, а то, что любят людей, которые тебя знают. — *Но ты выстраиваешь стену ещё до того, как кто-то подошёл. Я видела это на каждом четверге. Слышащий человек появляется, а ты уже решил, что он уйдёт. Вот и Элли, может, отчасти не выдержала, потому что ты не оставил ей ни одного шанса остаться иначе, чем в роли помощницы.*

Мне нечего было ответить. Я сидел, глядя на сахарный песок, и пытался разглядеть в нём будущее, но видел только крупинки.

— *Эви не Элли*, — показал я наконец.

— *Конечно, не Элли. Но, возможно, ты уже ждёшь, когда она станет ею.* — Шона улыбнулась так, чтобы я не обиделся. — *Я не говорю, что она уйдёт. Я говорю, что ты не поймёшь, уйдёт она или нет, пока не перестанешь готовиться.*

Я кивнул. Потом, чтобы разрядить разговор, показал ей, что, если уж на то пошло, она сама три года не пускает слышащих в свою жизнь дальше стойки в магазине, и Шона, которую подловили, рассмеялась и бросила в меня свёрнутую салфетку.

Дома я нашёл на полу в прихожей тонкий конверт: письмо от университета с напоминанием о записи на экзаменационные адаптации. Я сунул его в рюкзак, прошёл на кухню, поставил чайник. Дев в это время сидел за ноутбуком и не поднял головы. Я постоял, глядя на чайник, а потом достал телефон и написал Эви: «Завтра в семь, там же?» Она ответила через минуту: «Там же. Принесу чай, если ты принесёшь камни». Я представил, как она сжимает в зубах колпачок от ручки, выбирая слова, и отправил в ответ смеющееся лицо.

Второго ноября, в воскресенье, мы созвонились с моей семьёй по видеосвязи.

Я предупредил маму ещё в среду, коротко, одной фразой: «Хочу познакомить тебя с подругой». Мама прислала в ответ шесть вопросительных знаков и фотографию кота, которого мы не держали, и больше ничего. Айла написала отдельно, в голосовом (она вечно присылает голосовые, забывая, что я не слышу, а потом спохватывается): «Каллум, ты влюбился?» Я ответил: «Не знаю». Она прислала: «Тогда тебе нужна помощь». Я ответил: «От тебя — нет». Она прислала хохочущую рожицу.

Эви пришла ко мне в квартиру в четыре. Я заранее убрал со стола всё лишнее, поставил ноутбук так, чтобы свет падал на меня, а не в камеру, потому что при видеосвязи на BSL свет решает всё. Дев, проходя мимо, покачал головой, давая понять, что вмешиваться не станет, и ушёл на кухню.

— *Волнуешься?* — показал я Эви.

— *Да*, — ответила она рукой, а потом, чуть смутившись, добавила: — *Нет. Да. Немного.*

Она надела синий свитер, расчесала волосы, и, наверное, потому, что она выглядела настоящей, не нарядной, мне стало легко. Мы сели рядом, я включил звонок, и через секунду экран заполнился тремя лицами.

У моей семьи всегда так: сначала все сразу, потому что на видеосвязи не нужно поднимать руку, чтобы тебе дали слово, и поэтому несколько человек начинают показывать одновременно, перебивая друг друга, и это выглядит как фейерверк. Мама, Фиона, в своём любимом зелёном кардигане, с чуть растрёпанной причёской. Папа, Аласдэр, широкоплечий, с густыми бровями и столярными ладонями, в клетчатой рубашке. Айла, в наушниках, которые она носила, наверное, из принципа, и с телефоном в руке. Они заговорили почти хором: мама спрашивала, как погода, папа спрашивал, правда ли, что у нас на кухне снова сломана раковина, Айла сообщала, что в школе всё ужасно, и три руки двигались так быстро, что я на мгновение потерял нить.

— *Мам, пап, Айла*, — показал я, дождавшись паузы. — *Это Эви.*

Эви села прямее. Она подняла руку, так же, как на занятиях Мартина, помедлила, будто проверяла, правильно ли помнит, и произнесла на жестах медленно и старательно:

— *Здравствуйте. Меня зовут Эви. Я учу BSL. Я учусь одну... месяц.*

Мама широко улыбнулась и поправила, не меняя выражения лица:

— *Один месяц. Но ты очень молодец.*

Я видел, что Эви хочет сказать что-то ещё, что она подбирает слова, и лицо у неё было сосредоточенное, словно она переходила реку по камням. Потом она развернулась ко мне, показала, что не знает, как сказать, и написала на листе бумаги, который заранее положила рядом: «Как сказать: рада познакомиться?»

Я показал. Она повторила: правильно, с первого раза. Папа, который до этого сидел с непроницаемым лицом, чуть приподнял бровь.

— *Она слышащая?* — спросил он меня, не глядя на неё. Это был вопрос не про факт. Папа уважал факты и никогда не тратил на них слов. Он спрашивал о другом: *надолго ли.*

— *Да,* — показал я.

— *Хорошо,* — показал папа. И затем, повернувшись к экрану, нашёл глазами Эви и произнёс нарочито медленно, чтобы она смогла прочитать: — *Ты ешь мясо?*

Эви замерла. Потом неуверенно кивнула, затем покачала головой, затем снова кивнула и сказала вслух, уже не пытаясь жестиковать:

— Я ем всё. Кроме грибов.

— *Что она сказала?* — спросил папа.

Я перевёл. Он кивнул так, будто это было самое важное из всего, что он хотел узнать, и вдруг сказал, обращаясь прямо к ней:

— *Грибы тоже можно. Фиона их не готовит, потому что я не люблю.*

Мама шлёпнула его по плечу. Айла засмеялась.

— *Он шутит,* — показала мама Эви. — *Он всегда так проверяет. Тебе надо будет приехать, и он посмотрит, как ты ешь за нашим столом.*

— *Это значит: умеет ли она есть и смотреть на руки одновременно,* — перевёл я Эви на её бумагу.

Эви прочитала и со смехом показала, что согласна. Мама, довольная, ответила, что в таком случае пригласит нас на Рождество, а папа добавил, что на Рождество у них всегда большой стол и на нём все говорят одновременно. Эви побледнела, и я решил, что пора заканчивать эту часть вечера.

Следующие полчаса прошли удивительно легко. Айла, которая сначала смотрела на Эви внимательно, с тем недоверием, которое бывает у младших, считающих себя ответственными за старших, расслабилась и через двадцать минут показывала Эви, как она сама в первый раз поссорилась с учительницей музыки. Эви смеялась, переспрашивала, мама подправляла её знаки, папа смотрел молча. Наконец мама, уходя, показала ей, повторив дважды, чтобы Эви запомнила: *береги себя и его.* Эви стала красной, а я не стал это переводить.

Когда экран погас, мы с Эви несколько секунд сидели молча. За стеной у Дева что-то упало, потом кто-то включил стиральную машину, и пол под ногами задрожал мелко и равномерно. Эви посмотрела вниз, потом на меня.

— *Что она сказала в конце?* — показала Эви, потом сразу пояснила письменно: — Я поняла «береги себя», но дальше не успела.

— Береги себя и его, — произнёс я вслух, потому что с ней уже мог.

Она замолчала. Потом медленно кивнула, как кивают, принимая на себя что-то тяжёлое.

После её ухода я долго стоял в коридоре, прислонившись к стене и глядя на телефон. Пришло сообщение от мамы. Маленькое, на английском, потому что она знала, что я люблю читать, а не смотреть:

«Хорошая девочка. Не торопись. Но и не прячься».

Я перечитал последнюю фразу три раза. Потом, не отвечая, убрал телефон и пошёл заваривать чай, потому что дело для рук всегда помогало мне думать.

Глава 5. Эви

Задание по синтаксису нам выдали в понедельник десятого ноября, и я, прочитав формулировку, почувствовала, что вселенная наконец-то мне подмигнула. «Сопоставьте, как в одном языке (на ваш выбор) выражается связь между частями сложного предложения: сочинение и подчинение. Объём — две тысячи слов. Срок сдачи — двадцать восьмое ноября». Профессор Адебайо, высокий человек с мягкой манерой речи, добавил, что язык лучше брать такой, с которым вы лично соприкасались, чтобы в тексте чувствовалась живая нужда в ответе, и я, сидя в третьем ряду, так резко выпрямилась, что соседка по парте оглянулась.

Мне хотелось написать про BSL. Это было настолько очевидно, что я даже не стала взвешивать другие варианты: за два месяца я прошла у Мартина больше, чем за десять лет школьного французского, видела, как фраза складывается не в строку, а в пространство, и носила в голове вопрос, который не мог не вызвать у лингвиста зуда. Как в языке, где нет привычных нам союзов «и», «но», «потому что», оформляется отношение между двумя событиями? Мартин на занятии однажды показал мне, что условное «если» передаётся поднятыми бровями и лёгким наклоном головы, ещё до того как рука закончит жест, и меня так поразила эта вещь, что я записала её на обложке тетради красным.

Дальше я рассуждала так, как рассуждают люди, привыкшие делать всё правильно. Нужны данные, лучше всего живые, от носителя, а у меня есть знакомый носитель, который к тому же разбирается в вещах, о которых способен рассказать, и, следовательно, я должна спросить его. В университете для этого существует специальный бланк согласия, который я скачала в ту же ночь, распечатала, заполнила аккуратным почерком и положила в папку вместе с чистыми листами, диктофоном и списком вопросов на двух страницах.

Я явилась к нему в среду вечером, двенадцатого, с этой папкой под мышкой. Это была моя вторая ошибка.

Первой было то, что я не спросила, будет ли ему удобно, и теперь, вспоминая тот вечер, я вижу себя со стороны так отчётливо, что хочется отвернуться. Он открыл дверь, увидел папку, на секунду задержал на ней взгляд, и по его лицу, которое я к тому времени уже умела читать лучше, чем думала, прошло что-то вроде тихого «ага».

— *Заходи*, — показал он.

Мы сели в гостиной, где на диване валялся чей-то рюкзак, а на подоконнике стояла банка с кусками горной породы, подписанными аккуратным почерком. Дев ушёл в свою комнату раньше, чем я успела что-либо сказать: ситуацию он понял сразу. Я выложила бумаги на стол, набрала воздуха и, помня о принципе «спрашивай, а не решай», показала ему в сухом, строгом порядке, что у меня есть к нему просьба и что я хочу задать её прямо.

Она заняла у меня три минуты и вылилась в довольно сбивчивый поток. Я пояснила, что пишу эссе, что хочу записать несколько его фраз на видео и разобрать грамматику, что бланк согласия университетский, что всё будет анонимно, если он захочет, и что я заплачу ему, если потребуется, хотя денег у меня немного. Закончив, я поймала себя на том, что пальцы продолжают двигаться.

Каллум не ответил сразу. Он взял бланк, прочитал первую страницу, потом вторую, перевернул лист, положил обратно на стол. Потом достал телефон и набрал: «Я могу ответить руками, но хочу, чтобы ты прочитала». Я кивнула. Он написал не торопясь, и, пока он писал, у меня засосало под ложечкой.

«Нет. Не потому, что ты плохая. Потому что я не хочу быть твоим материалом».

Я прочла это раз, потом ещё раз. В груди стало одновременно жарко и холодно.

«Я не имела в виду...» — начала я вслух, а потом сообразила, что вслух ему ничего не нужно, и стала писать, но он поднял ладонь, вежливо, не останавливая меня, а прося подождать, и продолжил:

«Когда моему отцу было девять, в его школу приехал человек из университета. Слышащий. С камерой. Он снимал детей, как они общаются, и говорил учителям, что делает важную работу. Отец помнит, как их выстроили в ряд и заставили показывать слова. Никто не объяснил, зачем. Никто потом не показал им, что вышло. Через десять лет вышла книга. В ней были их лица. Отец увидел её в библиотеке случайно».

Он остановился, посмотрел на меня и, видимо поняв по моему лицу, что я не защищаюсь, а просто слушаю, добавил:

«Это не про тебя. Я знаю, что ты не такая. Но так бывает с нами очень давно. Слышащий приходит, берёт язык и уходит с ним в статью. А глухие потом узнают, что о них написали, из чужих рук».

— *Понимаю*, — показала я. Руки дрожали, и я ухватила за край стола. — *Прости. Я не подумала. Нет. Я подумала, но не про это.*

— *Один раз*, — напомнил он, и в уголках его глаз мелькнула тень улыбки, очень слабая, но достаточная, чтобы мне стало легче дышать.

— *Один раз*, — подтвердила я и сложила бумаги в папку.

Мы помолчали, и я заметила, что разговор не оборвался и перешёл в другую плоскость. Каллум, видя, что я собираюсь уходить, подался вперёд и показал, что есть другой путь. Он не заставлял меня отказываться от темы: он попросил (в этом слове было гораздо больше уважения, чем во всех моих бланках) пойти к людям, которые сами согласились говорить на камеру, прекрасно зная, кому и зачем. В Лондоне, написал он, давно существует корпус BSL[15]: записи двух с половиной сотен глухих из разных городов, сделанные для таких, как я, с их согласия, и выложенные в открытый доступ.

«Читай их, — написал он. — И читай глухих учёных, которые пишут про язык сами, а не только слышащих. Цитируй честно. Если после этого останутся вопросы — спрашивай. Я скажу, смогу ли ответить».

Я кивнула. Потом, не выдержав, спросила вслух:

— Ты не обиделся?

Он посмотрел на мои губы, поймал вопрос и ответил вслух, медленно, своим непохожим голосом, в котором каждое слово весило чуть больше, чем в обычной речи:

— Нет. Спасибо. Что спросила.

И вот тогда мне стало ясно, что вечер, который я посчитала неудавшимся, был, возможно, одним из лучших из тех, что мне доводилось пережить в Эдинбурге.

Домой я шла под мелким дождём, с папкой, прижатой к груди, и размышляла о том, как странно устроена совесть: сначала она жётся, а потом дорожит тем, что обожглась. В общегитии я прошла мимо кухни, где Прия ела холодную пасту над учебником анатомии, и остановилась в дверях.

— Что-то случилось? — спросила она, не поднимая головы.

— Меня только что поставили на место, — сказала я. — Очень вежливо.

— И как оно?

Я прислушалась к себе. Стыд ещё был, но под ним появилось ровное чувство, похожее на хорошую усталость после работы.

— Полезно, — призналась я. — Хотя неприятно.

— Это обычно одно и то же, — сказала Прия и подвинула мне вилку.

Следующие две недели я писала эссе. Профессор Адебайо, когда я пришла к нему на консультацию и объяснила, что передумала, не стала переспрашивать, только кивнула и сказала, что считает моё решение разумным: работа с публичным корпусом даст мне данные, а

уважение к источнику даст работе вес. Я просидела над видеозаписями много часов, поставив ноутбук на колени и подложив подушку под спину. Смотрела, как две женщины из Глазго, не прерывая друг друга, вспоминали школу, как мужчина из Бристоля пересказывал сюжет мультфильма, и пыталась уловить в их руках то, о чём не говорил учебник. Брови поднимались, когда начиналось условие. Плечи чуть смещались в сторону, когда речь шла о другом человеке. Пространство перед говорящим превращалось в сцену, где каждое событие занимало своё место.

В какой-то момент, сидя в общей комнате в два часа ночи, я заметила, что Амира, расположившаяся на диване с кодом, смотрит на мой экран.

— Это красиво, — сказала она. — У них же вообще нет слов в нашем смысле?

— Слова есть, — ответила я. — Только не те. У них вместо союза может быть положение в пространстве. Или выражение лица. Вот, смотри, она говорит про своего брата, а потом чуть поворачивается и говорит про себя. Это называется...

— Я не поняла ни слова из того, что ты сказала, — призналась Амира. — Но звучит так, что я хочу, чтобы ты рассказывала дальше.

Мы просидели до четырёх, и я написала самую длинную часть эссе вслух, объясняя ей, что делает сочинительная связь. В сочинённом предложении две части стоят рядом на равных: ни одна не зависит от другой, каждая могла бы существовать отдельно, и вместе их держит только союз, «и» или «но», или просто интонация. В подчинённом одна часть держится за другую, как лиана за дерево, и без главной она теряет смысл. Мне нравилось, что в этих двух типах связи спрятана целая философия отношений, и когда я об этом сказала, Амира хмыкнула и заметила, что, если довести эту мысль до конца, нужно будет разводить половину человечества.

Эссе я сдала двадцать седьмого, на день раньше срока, потому что не могла больше его держать. Нажав на «отправить», я вышла на улицу и обнаружила, что идёт первый настоящий снег.

В субботу, двадцать девятого ноября, у нас был кэйли.

Идею подкинул Фергюс. Он явился на кухню в пятницу вечером в клетчатых брюках, объявил, что в университете ежегодно проходит ночь, на которую каждый уважающий себя шотландец (и несколько неуважающих себя англичан) обязан надеть что-нибудь странное и танцевать, пока не отвалятся ноги, и торжественно потряс билетами. Кэйли[16] оказалось слово из гэльского, означавшее что-то вроде «собрания», и на практике это было большое собрание в зале, где играли живые музыканты и где весь вечер кто-то громко выкрикивал, куда идти и с кем меняться.

— Я не умею танцевать, — сказала я.

— Никто не умеет, — заверил Фергюс. — В этом и смысл. Нам скажут, что делать, и мы будем это делать неправильно, но дружно.

Я вспомнила вдруг, что Каллум на днях упоминал, что любит кэйли, и по привычке написала ему: «Идёшь в субботу?» Он ответил через минуту: «Дев не даст мне остаться дома. Да». Я подумала и добавила: «А можно спросить, как это для тебя? Музыка, крики?» Он написал: «Музыку не слышу. Но чувствую пол. Скрипка и гармошка почти не чувствуются, а барабан и ноги — очень. А крики мне переводит Дев на пальцах. Я танцевал с шести лет, в Стирлинге у нас в школе была обязательная программа. Люблю ли? Да. Увидишь».

Я увидела.

Зал оказался старинным, с резными потолками и деревянным полом, который в субботу к девяти вечера гудел как сердце. На сцене сидели пятеро: две скрипки, аккордеон, гитара и барабан, и когда они начали, в воздухе встал такой плотный шум, что я невольно вжала голову в плечи. Танцоров было человек двести, в юбках и килтах, в джинсах и в чём попало. Мы пришли шестеро: Прия, Фергюс, Амира, Дев, Каллум и я. Шона, пообещав присоединиться позже, застряла на проекте.

— *Видишь*, — показал мне Каллум, пока мы стояли в углу и осматривались. Он указал на пол, потом на музыкантов и положил ладонь себе на грудь. — *Барабан. Вот здесь.*

Я встала рядом и, помедлив, переставила ногу на доске. И почувствовала: удары шли снизу, глухие, ровные, словно кто-то большой ходил по этажу под нами.

— *Ты слышишь это?* — показала я.

— *Не слышу*, — ответил он. — *Я это знаю. Это другое.*

Потом ведущий в микрофон объявил первый танец, и дальше всё слилось. Нас выстроили в шеренги по шесть, велели взяться за руки и шагать вперёд по залу; Каллум стоял со мной в одной тройке, с Девом по другую руку, и я заметила, что он следит не за ведущим, который выкрикивал указания, а за движением остальных, за тем, как меняются линии вокруг, и в нужный момент сам делал шаг, поворот, ныряние под руки. Он танцевал легко, без лишней уверенности, но точно, и я, путаясь в собственных ногах, поймала себя на мысли, что, если бы мне нужно было выбирать, у кого учиться ходить по залу, я выбрала бы человека, который читает пространство глазами.

Ошибалась я постоянно. В танце под названием «Лихой белый сержант» меня закрутили в противоположную сторону, и я врезалась в Фергюса, который, сияя, повёл меня обратно. В «Стрип-зе-Виллоу» половину зала разметало по кругу, и я, держась за руки то с сидящим профессором, то с девочкой в зелёном платье, потеряла счёт кругам и чуть не потеряла туфлю. В каком-то из танцев Каллум оказался напротив, мы сцепили руки, развернулись и я не успела ничего показать, потому что обе руки были заняты, и он, улыбаясь, мотнул головой: *потом*. У меня кружилась голова, мышцы ног горели, и я смеялась так, как не смеялась, кажется, с лета. Он тоже: плечи его ходили под рубашкой, а лицо, которое в обычные дни бывало сдержанным, как закрытая книга, сейчас раскрылось целиком.

Около десяти музыканты объявили перерыв, и мы вывалились в коридор, красные, мокрые, растрёпанные, и Дев потребовал воды. Каллум стоял у стены, дышал глубоко и показывал мне что-то, что я не успевала считать, потому что смотрела на его руки, на пальцы, блестящие от пота. Я поняла, что не слежу за смыслом, а любуюсь движением, и поспешно отвела взгляд, но Дев, проходя мимо с бутылкой, успел поймать мой и ухмыльнуться.

— *Мне нужен воздух*, — показал Каллум. — *Пойдём?*

Я кивнула.

Мы вышли через боковую дверь во двор. Было холодно по-настоящему, до белого пара изо рта, а над головой висело небо, чистое, чёрное и усыпанное звёздами, каких мы в Шеффилде никогда не видели. Снег днём стоял, но в тени у стены оставались пятна. Мы встали рядом, спинами к кирпичу, и несколько минут просто дышали. Мне казалось, что я слышу собственное сердце, и я подумала, что в этом смысле мы с ним сейчас, наверное, одинаковы: оба чувствуем стук изнутри.

— *Тебе нравится?* — показала я.

— *Очень*, — ответил он. И потом, чуть помедлив, добавил: — *Мне нравится, что ты не извиняешься, когда наступаешь на ноги.*

— *Я наступила на ноги?*

— *Четырнадцать раз. Я считал.*

Я рассмеялась. Он смотрел на меня, и смех мой постепенно затих, потому что в его взгляде появилось что-то, что нельзя было принять за шутку. Он поднял руки и показал, чтобы я успела прочитать каждое слово:

— *Я хочу тебя поцеловать. Можно?*

У меня остановилось дыхание. Я подумала, что знаю этот жест, потому что он показывал его на прошлой неделе, объясняя, как просить разрешения, и что это было сказано, возможно, ради примера, но теперь в нём не было никакого примера. Я кивнула, потом, спохватившись, потому что он требовал ясности, сказала вслух:

— Да.

И показала, как могла: *да*.

Он шагнул ко мне, осторожно, давая время отодвинуться, и положил ладонь мне на щёку. Она оказалась тёплой и шершавой от влаги. А потом поцеловал.

Не знаю, сколько это длилось. У меня в голове не было ни единой мысли, ни единого слова, ни на английском, ни на языке, которого я не знала, ни в какой грамматике. Были его губы, и холодный воздух, и стук в груди, и далёкий, глухой удар барабана, который я чувствовала ногами сквозь подошвы.

Когда мы отстранились, он засмеялся, тихо, одним выдохом, и показал:

— *Я не умею делать это красиво.*

— *Ты сделал это правильно,* — ответила я.

Мы вернулись в зал только через полчаса. Дев встретил нас у входа, оглядел обоих с невозмутимостью старшего брата и сказал (мне, вслух, так, чтобы Каллум тоже мог прочитать по губам):

— Я проспорил пять фунтов Шоне. Она утверждала, что вы дотянете до Рождества.

— Дотянули, — сказала я.

— До кэйли, — поправил Дев. — Это почти то же самое.

Домой меня провожали все: мы шли по ночному городу большой шумной группой, Фергус пел что-то про Хайленды, Прия вела его под руку, Амира обсуждала с Девом, можно ли записать танец алгоритмом, а мы с Каллумом шли позади, и он держал меня за руку, не крепко, просто так, как берут за руку в метель, чтобы не потеряться. У подъезда общежития мы остановились. Другие уже ушли внутрь, оставив нас вдвоём под фонарём, в оранжевом круге света, где кружились мелкие снежинки.

— *Спокойной ночи,* — показал он.

— *Спокойной ночи,* — показала я, и пальцы у меня не слушались.

Он повернулся и пошёл вдоль забора, засунув руки в карманы, а я смотрела ему вслед, пока он не исчез за углом, и только потом сообразила, что стою на ветру в расстёгнутом пальто.

В комнате я скинула туфли, села на кровать и достала блокнот. Рука сама вывела на чистой странице: «Мы пришли на танцы, и мы поцеловались». Я посмотрела на фразу, и в голове зазвучал голос профессора Адебайо: две части, стоящие рядом на равных, и между ними запятая и союз. Ни одна не зависит от другой. Каждая могла бы быть отдельным предложением, но вместе они значат что-то иное.

Я улыбнулась в темноте, дописала внизу мелко «(сложносочинённое)» и пошла спать.

Глава 6. Каллум

Утром после кэйли я проснулся от толчка под подушкой, нащупал телефон, выключил будильник и около минуты лежал, не открывая глаз, пока не вспомнил, что со мной произошло, и от этого воспоминания стало одновременно хорошо и страшно. Хорошо — потому что на губах до сих пор было ощущение тепла, и я позволил себе его не стирать. Страшно — потому что за последние месяцы я успел привыкнуть к мысли, что со мной подобного случаться не будет, и теперь, когда оно случилось, я не знал, как с ним обращаться: как с редким минералом, который хочется носить в кармане и в то же время боишься уронить.

Дев ждал на кухне. Он стоял у плиты в одних шортах, жарил яичницу и, едва я появился в дверях, повернулся, посмотрел на меня и показал:

— Ну?

— Что «ну»? — спросил я.

— Ты улыбаешься, как человек, у которого украли лицо и заменили на чужое.

— Это обычное лицо.

— Ты его не носил двадцать лет.

Я налил кофе. Дев переложил яичницу на тарелку, сел напротив и некоторое время смотрел, пока я делал вид, что очень занят молоком.

— Я рад, — показал он наконец. Просто, без шутки, и поэтому я поднял глаза. — Она хорошая. И она смотрит на тебя, когда ты говоришь, а не на того, кто стоит рядом. Это бывает не со всеми.

— Шона напомнила мне про Элли, — признался я. Не знаю, зачем: может быть, затем, что с Девом можно было говорить о вещах, которые вслух не произносишь.

Дев помрачнел.

— Шона права наполовину. Элли не выдержала потому, что ей никто не объяснил, как быть рядом, не превращаясь в твоего переводчика. Объяснить — это не значит учить. Это значит говорить, чего ты хочешь. — Он ткнул вилкой в мою сторону. — Скажешь Эви?

— Скажу, — пообещал я, хотя пока не знал, что именно.

Декабрь в университете начинается с экзаменов, которые не замечают ни Рождества, ни любовных историй, и я, как и все геологи, встретил его с мрачной бодростью. Первый экзамен стоял в расписании на вторник, второго числа: общая стратиграфия, три часа в большом зале с партами в длинных рядах. Я был там с Мойрой, с запасом карандашей, с картой, которую выучил наизусть, и с договорённостью, которую каждый год заново согласовывал с университетской службой поддержки.

Эти договорённости, как правило, никто не замечает, и это правильно: они должны быть незаметными, как хорошо подогнанная обувь. Мне положено дополнительное время, потому что письменный английский для меня остаётся вторым языком, пусть и очень знакомым, и требует лишних минут, чтобы выстроить мысль так, как я думаю её на BSL. Мойра или Гарет сидят в аудитории и могут перевести мне вопросы, если я не уверен, как их понял, но не подсказывают ответов, что понятно и справедливо. Дежурный в зале, вместо объявлений в голос, показывает мне заранее оговорённые карточки: *остался час, остался пятнадцать минут, пишите последнее*. Весь первый год я гордо отказывался от всех этих мер и сдавал, как все, пока не проиграл полбалла из-за того, что просто не услышал: «Осталось десять минут». Теперь я не гордый. Я практичный.

В тот первый вторник, когда началась раздача листов, я вдруг поймал себя на том, что ищу глазами не Мойру, а серый свитер, хотя Эви в этом зале быть не могло, у неё были другие экзамены в другом здании. Это глупо. Я выдохнул, взял карандаш и решил задачу про угловое несогласие на третьей странице, нарисовав его не как схему, а как пейзаж: два пласта, разные

углы, дыра между ними, и подписал снизу «время» стрелкой вправо. Проверяющий, наверное, подумал, что я сошёл с ума. Агнес Фрейзер, которая проверяла эти работы, потом сказала мне, что узнала мою по рисунку, что лучшего ответа о несогласии она не читала за последние десять лет и что один балл всё равно снят за небрежный почерк.

Остальные дни слились. Утром я приходил в Гранд-институт, днём в библиотеку, вечером в читальный зал, где ко мне иногда присоединялась Эви. Мы с ней создали негласное правило: не разговаривать, когда оба учимся, потому что в тишине библиотеки (я ставлю это слово в кавычки: для меня она не тишина, а просто отсутствие движения вокруг) я могу сосредоточиться только когда рядом никто не размахивает руками. Но мы садились друг напротив друга за один стол, и иногда, подняв голову, я встречал её взгляд, и она, не отрываясь от книги, чуть приподнимала бровь: *всё в порядке?* Я кивал. В этом обмене было больше близости, чем в иных ночных разговорах.

Вечером в четверг четвёртого числа мы вместе вышли из библиотеки, было минус два, асфальт блестел от инея, и она шла рядом, засунув руки в карманы пальто, и смотрела не вперёд, а чуть вбок, на меня, и мне казалось, что она хочет что-то сказать и никак не решается.

— *Что?* — показал я.

— *Нет, ничего,* — ответила она рукой, потом повернулась и показала подробнее: — *Я думаю о том, что я счастлива, и мне от этого странно.*

— *Почему странно?*

— *Потому что обычно я так думаю в конце, когда всё кончено.*

Я остановился. Она тоже. Над нами горел фонарь, и пар от нашего дыхания смешивался в воздухе.

— *У меня тоже,* — показал я. — *Я всегда жду, когда закончится.*

Мы стояли, глядя друг на друга, и каждый, кажется, думал одно и то же, но не знал, как сформулировать. Наконец она сказала вслух, потому что слова не помещались в руки:

— Тогда давай не ждать.

Я кивнул и взял её за руку.

Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошёл в субботу, шестого декабря, и сам по себе он не стоил бы ничего. Мы зашли в кофейню на Бристо-сквер, где я бывал раньше, и встали в очередь к стойке, потому что обоим не хватало кофеина и было холодно. За прилавком стояла молодая женщина с кольцом в носу, выглядела уставшей, смотрела на нас с вежливой пустотой и произнесла что-то, чего я не понял. Я обернулся к Эви, чтобы она сказала, достал телефон, чтобы написать заказ, и в этот момент прочёл по губам слова Эви:

— Один плоский белый на овсяном молоке, пожалуйста. И чёрный чай с лимоном.

Она произнесла это быстро, ровно, и я почувствовал, как ладони, на секунду застыв, вспотели. Женщина за прилавком кивнула, обращаясь к Эви, пробила чек и теперь смотрела на неё, не на меня, уверенная, что наш вопрос решён. Эви повернулась ко мне и с улыбкой, которую я потом долго не мог забыть, потому что она была такая доброжелательная, спросила:

— *Правильно?*

Всё было правильно. Именно это я заказал бы сам, до последней буквы, потому что за пару месяцев она запомнила, что я пью, и это тронуло меня, не стану притворяться. Но под этим чувством лежало другое, холодное и очень знакомое, и оно поднялось быстрее, чем я успел его остановить. Я взял телефон и, пока женщина за прилавком возилась с кофемашиной, написал:

«Спасибо. Но я мог сам».

Эви прочитала. Я увидел, как улыбка у неё медленно сползает, и в глазах мелькнуло то, чего я не ожидал: не обида, а растерянность, настоящая, какая бывает, когда спохватываешься, что ступил не туда.

— Я хотела помочь, — сказала она вслух.

«Я знаю», — написал я.

Принесли кофе. Мы взяли чашки и сели у окна, и некоторое время никто из нас ничего не говорил. Я смотрел на улицу, где студенты шли в капюшонах, с пакетами, закутанные, и думал, как мне сказать то, что нужно, не превращая её в виноватую. Я знал, что могу промолчать. Это было легко, привычно, как старое пальто: промолчать, подождать, пока всё выровняется, и отмахнуться потом от самого себя фразой «ну, она же не нарочно». Но слова Дева и Шоны сидели у меня в голове с упорством заноз, и я достал телефон.

«Можно, я объясню?» — спросил я.

— Да, — сказала она.

Я начал писать. Это заняло много времени, потому что я хотел, чтобы получилось точно, а точность на письменном английском, которому я научился по книгам, требует усилий. Эви терпеливо ждала, держа чашку обеими ладонями.

«Когда ты говоришь за меня, — написал я, — человек за прилавком смотрит на тебя. Не на меня. Для неё я исчезаю. Это не потому, что она плохая. Так почти всегда бывает. Слышащие находят слышащего, с кем проще, и дальше говорят с ним. Я привык. Я не хочу привыкать к этому с тобой».

Эви прочитала, подняла на меня глаза, и я увидел, что они блестят.

— Я не хотела... — начала она. Остановилась. Потом, вспомнив, наверное, что ей не нужно оправдываться, а нужно слушать, набрала воздуха и сказала просто: — Спасибо, что сказал. Я не заметила. Правда не заметила.

«Знаю, что не заметила, — написал я. — Поэтому говорю».

Она рассмеялась, коротко, мокрым смехом, вытерла глаза тыльной стороной ладони и показала мне:

— *Прости. Один раз.*

— *Принято,* — ответил я.

Затем она склонилась ко мне над столом и, положив ладонь на мою, сказала вслух (а я читал по губам, и мне казалось, что я читаю не слова, а её решение):

— Но если ты хочешь, чтобы я так не делала, мне нужно знать, когда можно, а когда нет. Иногда мне правда хочется тебе помочь, и я не всегда понимаю, где граница. Может быть, давай решим заранее?

Я сначала не понял. Потом понял и подумал, что это самая разумная вещь, которую мне когда-либо предлагал слышащий человек.

— *Как?* — показал я.

Она оглянулась, взяла с барной стойки бумажную салфетку и ручку, которую нашла в кармане, и положила салфетку между нами.

— Правила, — сказала она. — Первое. Что-то про «спрашивать».

Я взял ручку и написал: «1. Спрашивай, прежде чем говорить или решать за меня. Даже если кажется, что очевидно». Эви прочитала, добавила в конце «Даже если очевидно» и поставила восклицательный знак. Потом поправила: «Особенно если очевидно».

— *Хорошо,* — показал я.

— А теперь твоя очередь, — сказала она. — Что делаешь ты, когда я что-то делаю не так, или когда тебе тяжело? Мне надо знать.

Я посмотрел на салфетку, на окно, на собственные руки, и мне захотелось ответить небрежно, пошутить, увести разговор, я чувствовал, как этот давний рефлекс поднимается во мне, но заставил себя остаться на месте.

— *Я пропадаю,* — показал я наконец.

— *Как?*

— *Перестая отвечать. Говорю себе, что мне нужно побыть одному. Могу не писать неделю. Две.* — Я сглотнул. — *Так было с Элли. Не потому, что она что-то сделала. Потому что я решил, что она уйдёт, и ушёл первым.*

Эви молчала. Потом взяла ручку и написала на салфетке: «2. Если тебе нужно побыть одному, скажи об этом и скажи, когда вернёшься. Не пропадай дольше суток без слова».

Я прочитал и покачал головой.

— *Сутки?* — показал я. — *Мне иногда нужно больше.*

— *Сколько?*

Я задумался. Было смешно: мы торговались, как два бухгалтера, но каждое число, которое я прикидывал про себя, обнажало что-то настоящее, потому что неделя была бы бегством, а трое суток отговоркой.

— *Сутки,* — сказал я наконец. — *Достаточно. Если я знаю, что ты ждёшь, мне легче вернуться.*

Она улыбнулась, и я понял, что, наверное, впервые за много лет кто-то согласился ждать меня, не требуя, чтобы я был другим.

Внизу она нарисовала линию, и мы расписались: она — своим кривым «Э. Х.», я — аккуратным «К. Р.». Салфетка была жирная, чуть помятая, с кофейным кругом на уголке. Эви свернула её вчетверо и убрала в записную книжку.

— Не потеряй, — сказал я вслух.

— Я не из тех, кто теряет такие вещи, — серьёзно ответила она.

Дальше всё шло как раньше, но немного иначе: мы почти не говорили о случившемся, только пили кофе, потом она рассказала про брата, который собирает камни и хочет писать мне письма, а я пообещал нарисовать ему алфавит. Вечером, вернувшись домой, я сел за стол, достал лист плотной бумаги и принялся чертить двурукий алфавит BSL: каждую букву, на двух руках, с указанием, какой палец к какому касается, подписывая стрелочки. На это ушло три часа. Дев заглянул ко мне, увидел рисунки, поднял брови и ушёл, ничего не сказав.

Экзамены закончились девятнадцатого декабря, в пятницу. Последний был по структурной геологии, и я вышел из зала в половине двенадцатого с головной болью и пустотой в желудке, но с чувством выполненного дела. На улице стояла не зима, а какой-то промежуточный сезон: серо, сыро, ветрено, но в воздухе уже пахло праздником, и в окнах кафе горели гирлянды. Эви ждала меня у ворот. Она была в красной шапке с помпоном, которой я раньше не видел, и держала в руках бумажный пакет.

— *Как?* — спросила она.

— *Жив,* — показал я.

— *А я сдала всё вчера. Свободна.* — Она сделала что-то вроде танцевального движения плечами. — *Хочу что-нибудь тебе подарить.*

Это был шарф. Шерстяной, тёмно-зелёный, с мелкой серой полосой, и, когда она вынула его из пакета и накинула мне на шею, а потом поправила концы, я почувствовал, что краснею.

— *Ты не обязана,* — показал я.

— *Знаю. Поэтому дарю.* — Она подняла бровь. — *Первое правило: я спросила. Хочешь? Или мне забрать?*

— *Хочу,* — ответил я, и это слово вышло неожиданно тяжёлым. — *А у меня для тебя ничего нет. То есть, у меня есть для твоего брата.*

Я достал из рюкзака свёрнутый в трубочку лист с алфавитом. Эви развернула его, посмотрела, и я видел, как у неё меняется лицо, как будто она читала письмо.

— *Это ты нарисовал?*

— *Три часа.*

— *Он будет в восторге,* — сказала она вслух, и голос у неё сорвался. — *Он будет в таком восторге, что мне придётся прятать от него телефон.*

— *Скажи ему, —* показал я, *— что это для Неда, от человека, у которого тоже когда-то была коллекция камней.*

Она сложила лист, спрятала в сумку, и несколько секунд молчала. Потом взяла мои руки, обе, в свои, в красных перчатках, и просто держала, а я чувствовал сквозь шерсть её пальцы и пульс.

— *Завтра я уезжаю, —* показала она одной рукой, потому что вторую не хотела отпускать. — *На девять дней. Я буду тебе писать.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.